

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

М Е М У А Р Ы

Гельмут Бон

**ПЕРЕД
ВРАТАМИ
ЖИЗНИ**



**В СОВЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ**

1944—1947

За линией фронта. Мемуары

Гельмут Бон

**Перед воротами жизни.
В советском лагере для
военнопленных. 1944-1947**

«Центрполиграф»

2012

Бон Г.

Перед вратами жизни. В советском лагере для военнопленных. 1944-1947 / Г. Бон — «Центрполиграф», 2012 — (За линией фронта. Мемуары)

ISBN 978-5-9524-5056-1

В ходе жестоких боев под Невелем в феврале 1944 года Гельмут Бон с остатками немецкого батальона, в котором служил связным, попал в плен и после нескольких допросов был отправлен в советский лагерь для военнопленных. Он прошел еще через два лагеря, едва не погиб на торфоразработках, работал на лесоповале, стал членом антифашистского актива, прежде чем в 1947 году его освободили и отправили на родину. Журналист по профессии и мастер слова по призванию, Гельмут Бон написал потрясающую историю человека, испытавшего тяготы войны и плена, узнавшего, что такое голод, холод и непосильный труд. Чтобы вырваться из плена, он пожертвовал своими убеждениями, именем и даже честью. И понял, что ценить свободу умеют только те, кто однажды ее потерял.

ISBN 978-5-9524-5056-1

© Бон Г., 2012
© Центрполиграф, 2012

Содержание

1944 год	5
Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	13
Глава 4	15
Глава 5	19
Глава 6	24
Глава 7	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Гельмут Бон

Перед воротами жизни. В советском лагере для военнопленных. 1944-1947

Моему брату Вернеру, который не вернулся из России

Опасно обманывать.

Еще опаснее обманываться самому.

Но иногда опаснее всего говорить правду.

1944 год

Глава 1

Самый долгий день моей жизни начинался точно так же, как и все предыдущие дни.

Да, все еще продолжалась война, о которой сегодня никто не хочет и слышать. Тяжелые оборонительные бои в районе городка Невель в глубине России. (Город Невель на юге Псковской области был освобожден 6 октября 1943 г. в ходе Невельской наступательной операции 6—10 октября. Однако в дальнейшем фронт здесь отодвигался на запад медленно, в ходе тяжелых боев, вплоть до начала Белорусской операции (23 июня 1944 г.), когда рухнул фронт группы армий «Центр». А после 10 июля рухнул фронт и 16-й армии вермахта (из группы армий «Север») к западу от Невеля. — *Ред.*) Сегодня 3 февраля 1944 года.

Наш батальон в ходе отступления останавливается на привал в темных избах покинутой жителями русской деревушки. Точнее говоря, остатки нашего батальона.

Ночь светла, а передышка между боями такая короткая.

Я даже не снимаю стальную каску. Лишь сдвигаю ее на затылок. Закрываю глаза.

Я даже не могу понять, устал ли я.

Я лишь знаю, что в соответствии с жизненным опытом у меня есть все основания для этого. Вот уже несколько недель мы не знаем покоя. Мы несем большие потери. У нас сложилось твердое убеждение, что мы сможем выиграть эту войну только чудом.

— Они там, в дивизии, упрямы как бараны! — бросил в сердцах наш командир накануне вечером.

Охваченный приятной дремой, я покачиваю головой из стороны в сторону. Сдвинутая на затылок каска трется о стену избы, кишмя кишасей клопами. Каска внутри мягкая, ее кожаная шнуровка плотно прилегает к голове. Я сижу словно оглушенный и почти совсем не чувствую веса каски.

Раньше, еще до войны, даже шляпа давила мне на голову.

Теперь все не так, как раньше. Поэтому все еще может закончиться хорошо.

Например, меня самого могут сегодня ранить. Тогда я на какое-то время попал бы в Германию. В какой-нибудь госпиталь на берегу тихого озера. А после выписки из госпиталя в отпуск, домой, для долечивания...

Но разве это было бы решением всех проблем? Я не ношу в нагрудном кармане фотографий или писем. Дома тоже все довольно безрадостно. Однако надо держаться!

Продолжать убивать?

Нет, просто выполнять самое необходимое в данный момент.

Например, сейчас надо глубоко дышать. Как же это бодрит! Да, я хорошо подготовлен к этому дню. В моем вещевом мешке даже есть сухие, совсем новые носки.

Хорошо, что я не успел съесть ломоть белого хлеба, который остался со вчерашнего ужина. В моей фляжке осталось немного натурального кофе. У меня есть котелок и виноградный сахар.

Действительно я подготовлен как нельзя лучше. Правда, я мог бы еще пришить пуговицу к брюкам моего отличного зимнего комбинезона. Мне еще не подошел срок получать новые фетровые ботинки, вторую пару за восемь недель. Но они у меня есть. В конце концов, как связному, мне приходится больше бегать по снегу, чем остальным.

И пистолет мне тоже не положен. Между прочим, отличная вещь этот «парабеллум» (9-мм пистолет Люгера «парабеллум» образца 1908 г. – *Ред.*). Он у меня тоже есть.

А еще у меня есть ракетница.

Вскоре мы снова двинулись в путь. Правда, батальон больше плутал по незнакомой местности, чем двигался в нужном направлении.

Зато мне удалось еще раз сходить по нужде. На таком морозе сделать это в зимнем комбинезоне не так уж и просто, тем более на марше. Чтобы снова застегнуть штаны, я заскочил в грузовик, стоявший на краю деревни. На войне надо стараться использовать любой, даже малейший, шанс для решения своих насущных проблем.

По своему обыкновению, я всегда держусь слишком бодро. Видимо, именно поэтому мне дополнительно повесили на спину рацию. Но ведь кто-то же должен ее таскать.

Я двигаюсь как во сне. Что-то отключается во мне. Это продолжается даже тогда, когда мы попадаем под пулеметный обстрел с правого фланга. Мы находимся на огромном, открытом со всех сторон поле.

Противник оказывается уже в пределах видимости. Мимо нас проносятся конные упряжки с полевыми орудиями. Артиллеристы шутят:

– Вперед, камрады, мы отступаем!

Однако нам не до шуток. Иван наступает!

Недалеко от нас артиллеристы взрывают свою противотанковую пушку. Ах эти трусливые идиоты! Мы занимаем позиции на окраине деревни, раскинувшейся на высоком холме, и открываем огонь.

Иван отступает. Вот так-то, ведь до сих пор все всегда заканчивалось хорошо!

Из оврага позади нашей позиции мы подносим ручные гранаты. Чего там только нет: противотанковые мины, магнитные кумулятивные заряды, боеприпасы для стрелкового оружия, пулеметные ленты, новенькие фаустпатроны. Мы оставляем в овраге целый ящик с дымовыми пашками. Сколько всякого бесполезного барахла пехотинцу приходится таскать с собой!

Но вот как раз оставленные нами дымовые пашки и могли бы меня спасти. После обеда, когда Иван пошел в атаку. С тремя танками и одной самоходкой он неожиданно возник перед нашими позициями на расстоянии примерно тридцати метров.

Что же теперь делать?

Один из нашей восьмерки выскакивает из траншеи. Всего лишь три метра отделяют нас от горящей избы, за которой можно было бы скрыться! Но именно на эту трехметровую полосу один из танков направил ствол пулемета. Выпрыгнувший из траншеи солдат шипит, как кошка, когда, пораженный пулями, плашмя падает на снег.

Разве у нас нет новых фаустпатронов? Правда, никто из нас не умеет обращаться с этим чудо-оружием. (Гранатомет одноразового действия без отдачи при выстреле. Состоял из надкалиберной кумулятивной гранаты с хвостовым оперением и открытого с обоих концов ствола с пороховым зарядом, а также прицельной планкой и стреляющим механизмом. Дальность стрельбы 30 м, бронепробиваемость 200 мм (фаустпатрон-1, масса 5,35 кг, вес гранаты 2,8 кг) и 140 мм (фаустпатрон-2 массой 3,25 кг, вес гранаты 1,65 кг). При выстреле из ствола назад

вырывалась струя огня длиной до 4 м. – *Ред.*) Я быстро просматриваю инструкцию по применению. Ничто не должно мешать выходу струи пороховых газов из заднего конца ствола фаустпатрона!

Однако каждый раз, когда я с фаустпатроном в руках поднимаюсь над бруствером, танк открывает по нам ураганный огонь из пулемета. И всякий раз я упираюсь задним концом ствола в стенку траншеи за спиной.

У меня ничего не получается с обстрелом танка (автор просто не смог встать под огнем. – *Ред.*), а ведь за подбитый танк можно было бы получить как минимум Железный крест 1-го класса. Мне остается только, следуя приказу, сжечь инструкцию по применению фаустпатрона. (Инструкция по применению была нанесена на сам фаустпатрон и была понятна даже ребенку. Похоже, автор пытается оправдать свою трусость. – *Ред.*)

– Каждый из вас должен сам решить, что делать! – кричит адъютант, проползая мимо нас. Крупные капли пота появляются у него на лбу, прежде чем он вскакивает на ноги.

Ах эти проклятые три метра! Неужели из-за них мы должны здесь погибнуть? Вот если бы у нас были дымовые шашки! Тогда бы мы могли без проблем укрыться за горящей избой!

Адъютант бросается вперед. Кажется, что время остановилось. Раздается пулеметная очередь. Интересно, ранен адъютант или нет?

– Матерь Божия! – Наш начальник связи дрожит всем телом.

Кто же остается еще в траншее? Радист, который так похож на девушку. Через несколько минут он будет убит.

Тут же еще и Юпп в белой меховой шапке с большим орлом. Раньше он служил в обозе оружейным мастером. Его огромная медвежья фигура действует на всех успокаивающе.

Здесь же Эрих Польшмайер, Красная Крыса, как мы в шутку называем его. Раньше он был коммунистом. По профессии Эрих портной. Для законченного фанатика справедливости весь мир был безнадежно плох. Аккумулятор в его рации всегда работал безупречно.

В этой же траншее сижу и я, а позади нас эти проклятые три метра простреливаемой земли.

Все становится предельно ясным в этот послеобеденный час. Русская пехота дает нам еще час времени на раздумье, прежде чем ближе к вечеру она решится подняться в атаку вслед за своими танками. Я могу спокойно все обдумать.

Должен ли я застрелиться из пистолета, который по уставу мне не положен?

Ведь война все равно проиграна.

Мой брак все равно потерпел крах.

Мне исполнилось двадцать девять лет. Родители потратили на меня кучу денег. Я сам приложил массу усилий, чтобы чего-то добиться в жизни. Есть ли какой-то смысл в том, что я должен умереть именно здесь, потому что какие-то смешные три метра мешают мне продолжить жить, наконец-то постараться начать настоящую жизнь?

Русский плен, по-видимому, означает не что иное, как неминуемую смерть. Ну что же, пусть тогда меня убьют русские.

Но разве в этом не кроется нечто спасительное? Нечто, что может превратиться в надежду! И пусть остается только один шанс из тысячи!

Я не хочу погибнуть в этой проклятой траншее. Я не погибну здесь. Я не хочу этого!

Я убегу отсюда, как канатоходец по тонкому канату. Я не хочу никого видеть. Я закрою глаза. Ведь это не должно принести никому никакого вреда. Ведь здесь уже ничто не сможет стать для меня хуже, чем есть сейчас.

Но а если я все же выживу, то смогу узнать, что же представляют собой большевики.

Возможно, коммунизм действительно является идеальным выходом для народов. Ведь у нас тоже очень многое делается неверно.

Как разъяренная богиня мести, немецкая артиллерия обрушилась на наш потерянный участок фронта. Ну вот, как всегда, когда уже слишком поздно, наши начинают, наконец, стрелять. И теперь еще и это безумие на наши головы: ведь мы находимся в самом пекле!

И вот уже из-за советского танка, пригибаясь по-кошачьи, выскакивают три фигуры. Они машут автоматами.

– Да не размахивайте вы, пожалуйста, так своими руками, господин фельдфебель! – Сейчас нам надо вести себя крайне осмотрительно, чтобы не нервировать этих трех юных Иванов.

Еще раньше я положил свой пистолет на дно траншеи. Свой новенький карабин, который я выменял у одного горного стрелка во время боев на берегу Ладожского озера, я кладу рядом с пистолетом. Очень осторожно. В карманах моего комбинезона не должно остаться ни одной гранаты. Можно умереть со смеху: у нас полно фаустпатронов, а мы не умеем из них стрелять!

Можно забыть о родине. Война проиграна. Теперь уже ни одно письмо не дойдет до меня. С прошлым покончено.

Вот и начинается самое большое приключение в моей жизни: я первым вскакиваю на ноги, когда над нами возникают фигуры в униформе защитного цвета. Наши руки подняты вверх.

– Хайль Сталин! – неожиданно для самого себя рявкаю я.

Это звучит по-идиотски. Немецкая артиллерия продолжает вести ураганный огонь. Ревут моторы русских танков. Кругом стоит адский грохот. Но мне кажется, что все кругом замерло в оцепенении, когда эти трое красноармейцев направили на нас свои автоматы.

– Где часы, камрад? – спрашивает один из них, обыскивая меня.

Пакет с виноградным сахаром летит в снег. Обыскивающий меня красноармеец жадно впивается крепкими зубами в кусок сыра, найденный в моем вещевом мешке, а затем быстро прячет его в карман.

Мне это уже совершенно безразлично. Все происходящее напоминает мне пантомиму на сцене сельского театра. Но только в первый момент. Затем все выглядит уже как призрачная пляска смерти. Это немецкая артиллерия наносит еще один интенсивный удар...

Когда я добрался до русского танка, ко мне подбежали только «Красная Крыса» и Юпп. Наш фельдфебель куда-то исчез. Радист, который выглядит как юная девушка, тоже пропал.

Укрываясь от обстрела за русским танком, стоит, пригнувшись, красный командир. У него благородное лицо. Даже в сумерках видно, как сверкают его зубные коронки из нержавеющей стали. Возможно, именно так и выглядит победитель. Может быть, это и есть новый человек.

Я улыбаюсь, когда взгляд его холодных, звериных зеленых глаз пронзает меня. Он не видит ничего, кроме войны. Он слышит только звуки войны: рев немецких снарядов, которые взрываются совсем близко от нас.

В ярости один из красноармейцев сбивает прикладом автомата каску с моей головы. При этом разбиваются и мои очки. Правда, порывшись затем в снегу, он находит одно целое стекло и протягивает его мне. Теперь всегда с нами будут обращаться только так!

Когда к нам, дрожа всем телом, подползает раненый Иван, я сразу понимаю: мы должны поскорее его перевязать! Дрожа от холода и страха, он с благодарностью смотрит на нас, когда мы, пленные, осторожно закатываем вверх его теплую шерстяную гимнастерку. Так, теперь нужно быстро наложить плотную повязку на худенькое тело. Это подчеркнет наши добрые намерения.

Широко улыбаясь нам, из танка выбирается маленькая радистка в черном комбинезоне. Мы трое тоже улыбаемся и крепко держим раненого. Станный аромат окутывает нас в сгущающихся сумерках: сладковатый запах моторного масла, смешанный с едва уловимым трупным запахом.

Оказывается, что мы инстинктивно действовали совершенно правильно: нам приказано отнести раненого в тыл. Когда мы в сопровождении троих охранников доставили раненого на перевязочный пункт в большой палатке, наши сопровождающие начали что-то горячо обсуждать. В этот момент мы почувствовали себя очень неуютно. Мы понимали, что решается наша судьба. Все выглядело очень серьезно. Нас, троих пленных, повели в овраг к командиру полка. Когда нас подвели к нему, он стоял у входа в одну из палаток вместе со своим ухмыляющимся адъютантом.

Происходящее напоминает мне сцену из романа Карла Мая (1842–1912; немецкий писатель, поэт, композитор, автор знаменитых романов для юношества, в основном вестернов. – *Ред.*). Одежда тех, кто нас допрашивает – длинные белые халаты, – похожа на одеяния жителей дикого Курдистана. Даже их головы закутаны в белую материю, и только для глаз оставлен маленький треугольник. Глаза командира гневно сверкают. Его голос звучит громоподобным басом. А его адъютант суетится вокруг нас, как кот, который увидел мышей.

К нам подбегает переводчик и начинает орать как сумасшедший:

– Вы понимаете, что я еврей? Вы понимаете, зачем вы воюете с нами? Почему вы не перешли на нашу сторону?!

А поскольку все русские, заведенные переводчиком-евреем, начинают громко орать на нас, в то время как мы, пленные, спокойно стоим перед ними, то я тоже кричу им в лицо:

– Прежде всего, для этого у нас должна была появиться такая возможность, понятно?!

Переводчик-еврей возмущен до глубины души и кричит:

– А вам известно, что Гитлер сжигает евреев?

Ну вот, они взяли нас в плен. Сейчас они нас убьют.

При этом они будут искренне убеждены в том, что совершают благое дело: уничтожают проклятых немецких фашистов!

А поскольку я внезапно понимаю, что противник действительно возмущен, то я уже искренне начинаю верить самому себе, когда бросаю в ответ:

– Так чего же вы еще хотите?! Вот мы стоим перед вами! А что, если мы все старые коммунисты?!?!

Проклиная нас, переводчик исчезает в своей палатке.

Совсем близко, всего лишь в тридцати сантиметрах от моих глаз, командир выхватывает из складок своей белой накидки острый кинжал. Словно лев, настигший свою добычу, он поднимает огромную лапищу. Я чувствую, как в мою грудь упирается что-то острое. Но поскольку мой взгляд тверд, а на лице не дрожит ни один мускул, то и моя грудь остается твердой как камень. В действительности же мой взгляд приобретает пронизательную неподвижность и остается твердым лишь потому, что без очков я почти ничего не вижу. Неужели это всего лишь спасительная случайность?

Но в этот момент адъютант, который, как собачонка, ни на шаг не отходит от своего командира, выхватывает трофейный «парабеллум» и упирается его дулом мне в подбородок.

Когда нашу маленькую колонну разворачивают налево, я слышу глухой треск, – это ломается толстая палка, которой кто-то бьет по голове последнего из нас.

– Приказ! Сталин! – кричит командир на своего адъютанта, который, задыхаясь от ярости, бежит вслед за нами.

Это никакая не случайность: в этом овраге нам суждено умереть. Трое красноармейцев с автоматами наперевес ведут нас вверх по склону.

На той стороне позади линии немецких траншей взлетает сигнальная ракета. Ярко освещая все вокруг, она на мгновение замирает в вышине, над темными избами раскинувшейся на холме деревни, в которой около двух часов тому назад меня взяли в плен. В этой нереально красивой звезде было что-то возвышенное. Такое же возвышенное чувство внезапно возникло и у нас в груди.

«Только сегодня можно оценить, как стойко мы тогда держались. Ведь ни у кого из нас на лице не дрогнул ни один мускул, – напишет мне много лет спустя Юпп. – Мало кто был так близок к смерти, как мы в тот день».

А ведь мы были далеко не герои.

Разве могу я умолчать о том, что до сих пор даже в самые счастливые часы моей жизни я постоянно вспоминаю о том смертном часе? А разве могу я умолчать о том, что именно тогда я впервые в жизни испытал неведомую мне прежде радость от предчувствия близкого конца?

В моей груди возникло какое-то возвышенное чувство, когда сигнальная ракета погасла вдали, как упавшая с неба звезда. Я хотел, чтобы моя гибель вызвала у них восхищение. Да, они смотрели на меня свысока. Но разве последнее желание «погибнуть, вызвав восхищение у своих врагов», – это фашизм? Разве это зло?

Тогда я прошу мир, вот именно, весь мир, от имени тысяч, сотен тысяч и миллионов моих сверстников, так страстно жаждавших жизни: ради бога покажите нам хоть что-то такое, что было бы более значимым, когда речь идет о конце всей твоей жизни. Что-то вполне конкретное, а не то, что можно понять только разумом!

Или мир представляет собой всего лишь юдоль печали, по которой мы должны ползти в могилу, обливаясь горячими слезами и стуча зубами от ужаса?

Тогда, в тот момент, когда адъютант в черкесской папахе вытащил пистолет, а красноармейцы передернули затворы своих автоматов, я еще не осознавал всего этого. Но мое сердце замерло от внезапно нахлынувших чувств.

И мои товарищи – бывший оружейник из обоза и красный портной – тоже почувствовали величие момента, так как перед лицом смерти они сохраняли непоколебимое спокойствие.

И это наше необъяснимое спокойствие прославляло этот невзрачный овраг. Оно придавало значимость нашей расстрельной команде. Слово «фашисты», которое снова и снова бросал нам в лицо разъяренный адъютант, даже это проклинаемое слово опускалось на наши плечи, как сияющая мантия волшебника. Как же опасно говорить решительным людям неправду! Они же такие доверчивые.

Адъютант поднимает пистолет. В моей голове проносится целая череда абсолютно ясных мыслей. Железная дверь захлопывается.

Несколько лет тому назад умер мой отец. Увидимся ли мы прямо сейчас? Какой чистый воздух сегодня вечером. Был ли он таким же и раньше? Когда я, непослушный ребенок, обливаясь слезами, лежал в детстве в своей кроватке, то я часто зарывался с головой в подушку и представлял себе: вот если бы я умер, я бы лежал в гробу, мама подошла бы к гробу и увидела, что ее Гельмут, которого она только что высекла, умер. Вот тогда бы она заплакала и пожалела о том, что наказала меня. Ну и пусть плачет, так ей и надо!

А как же будет на этот раз, когда они узнают, что я действительно умер? Узнают ли они об этом вообще?

Когда же, собственно говоря, начался этот день? Как же жалко, что я никогда больше не смогу ничего написать об этом самом долгом дне в моей жизни! Сенсация? Нет, что-то совершенно другое: надо мной раскинулось ясное зимнее небо, как чистый хрустальный купол. Мне кажется, что, когда я просто дышу, в воздухе раздается хрустальный звон. И я не могу себе представить, что моя скорая смерть в этом овраге может быть лишена всякого смысла.

Когда взятые на изготовку автоматы опустились и когда улыбающийся адъютант обнял меня, я услышал, как снова начали тикать какие-то невидимые часы. Я не испытывал никакой благодарности за спасение. Я не сердился на них из-за этой злой шутки. Я лишь махнул рукой: подумаешь, ничего страшного!

Время снова начало свой ход. Вечность исчезла. На передний план опять выступили частности и мелкие трудности.

Глава 2

На командном пункте дивизии генерал спрашивал нас об эффективности действий своей штурмовой авиации. Он хотел также знать, планируется ли немецкое контрнаступление. Но он также интересовался и жизнью в Германии. Ведь он же генерал.

– Вы знакомы с влиятельными людьми? Как живут сейчас эти богачи?

Переводчик, темноволосый стройный молодой человек, захотел продемонстрировать генералу свое знание французского языка:

– Я продолжу допрос по-французски!

– Спросите генерала, могу ли я воспользоваться стеклом от моих очков. А то я совсем ничего не вижу. Мои очки разбились, когда меня брали в плен.

– Пожалуйста.

Я использую стекло от очков как монокль. Оказывается, я нахожусь в просторной русской избе с огромной печью. Коренастый генерал с обритой наголо головой чем-то похож на добросовестного бюрократа. В нем нет ничего от честолюбивого Наполеона. Почти смущаясь, он прерывает допрос. Нет никакого смысла играть перед ним комедию. Я снова прячу свой монокль в карман.

Позже так позже! Вот такое странное развитие получает мое пребывание в плену. Всего лишь час тому назад меня собирались расстрелять. А сейчас я жив. Я могу констатировать это со всей определенностью. Ну что же, значит, проживем еще!

В темноте я опять сижу снаружи, у серой стены избы, в которой генерал приказывает своему ординарцу подбрасывать в печь одно полено за другим. Внутри по очереди допрашивают всех пленных. В ожидании допроса мы сидим в длинной очереди на улице. Меня охватывает непреодолимая усталость. Неужели этот день так никогда и не закончится?

Очевидно, для проходящих мимо русских солдат мы представляем собой некую диковинку. Один из этих медведей в ватнике разрешает каждому из нас скрутить себе толстую самокрутку. Я впервые в жизни пробую зеленоватую махорку, завернутую в газетную бумагу.

– Русский табак гут, камрад?

– Замечательно! – Хотя мне противно до тошноты. Но раз уж они решили посмеяться надо мной, то и я готов подыграть им и смеюсь вместе с ними.

– Русское обмундирование гут, камрад! Немецкая форма никс гут!

Ого, это наше-то обмундирование им не нравится?! Вот этот теплый зимний комбинезон, в котором можно часами лежать на снегу, если хорошенько затянуть шнуровку на запястьях и поглубже натянуть капюшон, и он им не нравится? (Немцы сделали выводы из зимы 1941/42 гг., и в дальнейшем в войска поступало достаточно практичное зимнее обмундирование. – *Ред.*)

Ого, да посмотрите только на наши фетровые ботинки с прочной кожаной подошвой, а потом сравните их со своими дырявыми развалюхами (валенками. – *Ред.*)!

У нас всех вскоре отбирают наши отличные фетровые ботинки, мол, в лагере вы скоро получите другие. Ведь им же надо на фронт. А для нас война уже закончилась – так считают эти медведи. С шумом и гамом они продолжают свой путь. Прежде чем уйти, один из них отсыпает нам целую горсть махорки.

– Война никс гут, камрад! – говорит он.

Потом проносят на допрос раненого фельдфебеля, лежащего на носилках. Уж не наши ли это?

Вскоре становится сыро и холодно.

Потом под конвоем трех русских автоматчиков наша группа медленно бредет в ночи. На какой-то разбитой дороге мы пьем из лужи. Все пропахло этим противным моторным маслом. Снег. Воздух.

Нам навстречу один за другим движутся танки. Кажется бесконечной колонна трехосных американских грузовиков.

Положение безнадежно. Германия проиграла войну. Меня начинает знобить.

Видимо, вредно есть снег, но я продолжаю жадно глотать его.

Один из нас, высокий парень из Гамбурга, начинает плакать. Он не может больше идти. Он ранен.

Конвой ругается и угрожающе размахивает автоматами.

Но мы подбираем несколько толстых палок и несем товарища на этом жалком подобии носилок. Попеременно по четыре человека. Так мы можем разбиться на три группы, которые постоянно сменяют друг друга.

– Ребята, помните о фронтовом братстве! Мы же не можем бросить его здесь!

На следующее утро наша колонна встречает большую легковую машину. Какой-то гражданский в желтом полушубке, сидящий рядом с водителем-красноармейцем, высовывается из кабины:

– Хотите вот так дойти до Москвы, да?

Оказывается, это кинооператор. Он выбирает самых измученных из нас: худенького восемнадцатилетнего паренька с маленькой птичьей головкой и огромными испуганными глазами, еще одного с окровавленной повязкой на голове и тому подобное. Выбранных солдат заставляют тащить носилки с раненым для московской кинохроники. Очень убедительная картина.

– Ребята, помните о фронтовом братстве! – Я снова и снова обхожу нашу колонну. Никто не хочет больше тащить на своих плечах тяжелого гамбуржца.

Ни у кого нет ни крошки хлеба. У некоторых из нас уже начался понос от съеденного снега. На ногах у нас растоптанные дырявые русские валенки.

В конце концов нам удастся избавиться от носилок. Мы устанавливаем их на русский танк, который направляется в тыл.

Однако потом мне и еще трем товарищам приходится бежать за танком и снимать носилки с раненым гамбуржцем. Мы уже совершенно выбились из сил!

Но мы не можем увильнуть и бросить нашего товарища на произвол судьбы: надо помнить о фронтовом братстве! Нас может спасти только чудо, оно должно произойти. И чудо происходит: когда мы ближе к обеду делаем привал на этом тернистом пути, выясняется, что гамбуржец совсем даже и не ранен!

Однако мало кто из нас решается сказать ему:

– Как ты мог так поступить с нами, вынудив нас тащить тебя на своих плечах всю ночь?

И только Красная Крыса говорит мне:

– Мы сами в этом виноваты!

И я не кричу в ответ:

– Какая же свинья этот гамбуржец! Какая мерзкая свинья!!

Я не убиваюсь понапрасну, а лишь чувствую огромную усталость во всем теле. От бессонной ночи мои глаза слезятся и горят, словно в них попал песок. Я присаживаюсь на корточки рядом с Красной Крысой и удивленно спрашиваю его:

– Ты так считаешь?

Наконец-то самый долгий день и самая долгая ночь моей жизни закончились.

Глава 3

На третий день постепенно все налаживается, и уже можно составить себе более полное представление о нашем положении. Во всяком случае, нам дают поесть. До тех пор, пока мы не прибудем в лагерь для военнопленных, дневная норма питания составляет около литра жидкого супа и триста граммов черствого хлеба. Но в те дни, когда мы рубили дрова для русской полевой кухни, нам дали на ужин немного горячего чая.

Само собой разумеется, дрова мы кололи на улице перед загонем для коз, в котором нас, примерно дюжину пленных, держали под замком.

Конечно, мы старались, чтобы огонь, который нам разрешали разводить в этом хлеву с дырявой крышей, никому не причинил вреда. Когда становилось темно, мы тщательно закрывали костер со всех сторон, чтобы не привлечь внимание немецкой авиации.

На чьей же стороне мы были, когда надеялись, что немецкие летчики не найдут эту деревню, в которой находился стратегически важный склад Красной армии?

Да, мы находились в руках врага. И у нас были те же самые интересы, что и у наших врагов: тщательно соблюдать светомаскировку, чтобы немецкие летчики не сбросили на нас бомбы.

В этом загоне для коз за нас отвечала женщина в форме младшего лейтенанта Красной армии. Она носила кожаный поясной ремень с пряжкой в форме огромной советской звезды. На широком плечевом ремне болтался револьвер. Но в своей планшетке она хранила в основном письма. С нами она разговаривала по-немецки. Она относилась к нам доброжелательно и говорила:

– Вот теперь вы сами видите, что ваш Геббельс был не прав: с вами в русском плену не происходит ничего страшного!

А поскольку она разрешает нам принести в наш хлев по целой охапке соломы, то мы и в душе признаем за ней право командовать: почему женщины тоже не могут быть командирами?

Однажды я сказал ей:

– Вы прекрасно говорите по-немецки. Вот только вам надо избавиться от одной ошибки в произношении: не произносите звук «ю» как «и». Например, слово «чувство» вы должны произносить как «гефюль», а не «гефиль»! Тогда ваш немецкий язык будет просто превосходным.

Можно сказать, что в известной степени я был у нее на хорошем счету. Снова усевшись у костра, я посмотрел на нее через языки пламени и спросил:

– Как будет звучать по-русски эквивалент немецкого слова «брот»?

– Хлеб, – ответила она и тут же быстро добавила: – Но у меня сегодня не осталось больше хлеба.

Она была интеллигентной женщиной, а не каким-то неотесанным солдатом в юбке.

Однажды к нам зашел красноармеец и забрал с собой двоих наших товарищей. Якобы для погребения трупов. Впрочем, они так и не вернулись назад.

Наши шансы выжить можно было оценить как один к тысяче!

Тем не менее надо постараться пережить плен. Только бы не ошибиться ни в чем!

– Ребята! Только не справляйте малую нужду прямо у двери! – набрасываюсь я на одного из наших, который, входя в наш хлев, застегивает ширинку. – Ведь здесь же женщина, парни!

– Немецкие солдаты считают, что в России им позволено вести себя плохо! – раздается голос женщины в военной форме.

И у меня мелькает мысль, что она, очевидно, права. Я прихожу к выводу, что, находясь в плену, надо полагаться на тех русских, которые так же благосклонно относятся к нам, как эта женщина, младший лейтенант. И еще я думаю, что никогда нельзя терять надежду...

... Я уже не держу двумя пальцами стекло перед правым глазом, так как на долю секунды я увидел в проеме двери русского капитана с окровавленной повязкой на голове, увидел его перекошенное от ненависти лицо, увидел, как он указывает на меня.

Речь явно идет обо мне.

Я просто тону в потоке русских слов.

Капитан буйствует.

Женщина в форме младшего лейтенанта ругается.

Все пленные в испуге отодвигаются от меня. Дверь с треском захлопывается. Через некоторое время женщина в форме младшего лейтенанта говорит:

– Капитан утверждает, что это вы ранили его ручной гранатой. Капитан прикажет, чтобы вас расстреляли.

– Но этого не может быть. Я уже два дня нахожусь здесь. Вы же сами это знаете. Нет, это же просто...

Я в полной растерянности. У меня нет слов. Я почти не слышу, как она говорит:

– Вы ранили капитана. Кому я должна больше верить, советскому офицеру или пленному фашисту?! Сейчас вас расстреляют!

Да, лучше бы они меня расстреляли три дня тому назад в том проклятом овраге! Тогда я еще что-то представлял собой. Тогда все еще имело значение. Между тем я превратился в капитулянта. Стал послушным животным на тощем пастбище. Да, вот именно потому, что я был готов жрать из рук победителей, за это меня сейчас и расстреляют.

За дверью уже слышны голоса красноармейцев, которые пришли за мной. Только из-за того, что капитана рассердил мой монокль, меня сейчас расстреляют. Лучше бы я сел куда-нибудь подальше в уголок. Мне было слишком хорошо. Я слишком рано уверовал в собственную неуязвимость. Вот поэтому я и должен сейчас умереть.

И хоть я сию выпрямившись, но моя голова низко опущена. Меня даже мутит, настолько плохо я себя чувствую. И если три дня тому назад я казался себе героем, идущим на смерть с гордо поднятой головой, то сейчас я чувствую себя совершенно раздавленным. Я превратился в ничтожество!

Через полчаса меня спрашивают о номере моей дивизии. Еще через полчаса к нам входит другой советский офицер, разговаривает с женщиной в форме младшего лейтенанта и снова уходит.

Остальные пленные находятся в таком же подавленном настроении. Только мои боевые товарищи осмеливаются обмениваться со мной взглядами.

– Проклятие, как же не повезло!

Когда приносят чай, кто-то передает мне полную кружку. Может быть, они забыли о расстреле. Но я не могу думать ни о чем другом. Мои мысли постоянно вертятся вокруг одного и того же: придут ли они за мной? Позже я не мог даже вспомнить, о чем я только не передумал в те страшные часы.

Вечером мы все должны были построиться на улице. И я тоже. Когда мы в окружении новых охранников отошли на сто метров от загона для коз, я еще раз обернулся. Те люди, которые остались там, за окнами, освещенными красноватым светом керосиновых ламп, подарили мне жизнь. И я, жалкий червяк, принял ее.

И такое будет происходить еще часто: сотни раз кто-то, кто не верит в Бога, будет дарить мне жизнь. Сотни раз я буду принимать этот грош для нищего. Теперь я понимаю, почему раньше плен считался позором.

Глава 4

С момента нашего пленения прошло уже десять дней, а мы все еще не в лагере для военнопленных, который постепенно начинает казаться нам несбыточным миражом. Все крайне раздражены.

Завтра отправляемся в лагерь! Почему только завтра? Почему не сегодня? Нет, сегодня не успеваем. Но завтра точно будет отправка!

Вот уже несколько дней мы, восемьдесят три человека, заперты в конюшне, на полу которой еще местами лежит навоз, в которой нет окон, а только несколько вентиляционных отверстий, каждое из которых так мало, что через него невозможно просунуть даже консервную банку, чтобы вылить мочу. Каждую ночь мы вынуждены стоять по четырнадцать часов. Только раненые лежат или сидят на полу.

Однажды одному из нас пришла в голову мысль, как все мы, восемьдесят три человека, могли бы, по крайней мере, сидеть в этом тесном помещении: вплотную один за другим, широко расставив ноги и положив голову на грудь сидящего сзади. Действительно отличная идея! Мы решили попробовать.

Но оказалось, что голова сидящего впереди ужасно давит на грудь. Поднятые ноги очень быстро затекают. И тогда люди, охваченные паникой, начинают вскакивать на ноги. В душном помещении со всех сторон несутся проклятия. В лихорадочном бреде раненые начинают бить во все стороны своими костылями и палками. Среди них есть и латыши. Все успокаиваются только после того, как охранник начинает барабанить в стальную дверь прикладом автомата.

– Мы должны вести себя тихо! В противном случае он будет стрелять! – переводит уроженец Верхней Силезии проклятия охранника, которые глухо доносятся из-за двери. – До утра никому не разрешается выходить на улицу!

Утром мы получаем немного сухарей, нам разрешают несколько минут подышать свежим воздухом, а затем начинаются допросы.

Теперь в конюшне становится посвободнее. Мы по очереди спим, мечтаем, строим планы на будущее.

В лагере наверняка будет больше порядка. Зато здесь теплится хоть какая-то надежда: иногда они посылают солдат-пехотинцев через линию фронта в расположение немецких войск как доказательство того, что они не убивают пленных!

Каким-то образом я должен попытаться снова вернуться к своим. Я должен! До двадцать второго апреля! Но я понимаю, что это было бы слишком хорошо, чтобы оказаться правдой.

А как бы это было здорово, вот бы удивились все мои приятели!

– Как вам это удалось, Бон? – спросили бы они.

А потом бы я получил письмо, написанное женским почерком, в котором были бы вот такие строки: «Я всегда знала, что ты, мой дорогой Бон, самый верный из всех людей на земле!»

Между прочим, тому, кто сумеет бежать из плена, полагается отпуск на родину. Интересно, а дали бы мне отпуск? Возможно, я бы отказался от него со словами: «Нет, спасибо, за это я не хотел бы получить отпуск!» Тем не менее они могли бы спросить меня, хочу ли я поехать в отпуск или нет.

– Вы выглядели как мертвец! – говорит мне несколько дней спустя юный капитан, сотрудник седьмого отдела в штабе советской 10-й армии. – Радуйтесь, что вы остались у нас, а не отправились маршем с остальными пленными в лагерь!

Он очень симпатичный, этот подтянутый русский капитан, к которому я сначала обращаюсь «господин капитан», а позднее просто называю его «товарищ капитан». А теперь подробно о тех событиях, которые произошли за последнее время.

Во время допросов уже давно не шла речь о чисто военной стороне дела: «Как фамилия командира дивизии? Где сейчас находится соседний полк, 159-й гренадерский полк? Ах, вы утверждаете, что, как простой пехотинец, ничего не знаете! Да, видимо, в немецкой армии плохо обстоит дело с инструктажем личного состава. Слушайте, тогда я, русский капитан, вместо вас отвечу на эти вопросы: ваш командир дивизии теперь уже не генерал Ортнер, а генерал Р. А 159-й гренадерский полк сейчас находится в...»

В этом штабе армии они действительно понимали, что простой пехотинец – это не офицер Генерального штаба. Здесь они больше интересовались политическими и социальными вопросами, чтобы, опираясь на полученные ответы, лучше понять эту зловещую Германию. И когда вот в такой теплой крестьянской избе сидишь за столом напротив подтянутого русского капитана, великолепно говорящего по-немецки, то в конце беседы уже чувствуешь себя в большей степени вербовщиком, рассказывающим о настоящей Германии, а не военнопленным, из которого хотят вытянуть какие-то секреты.

– Вы знаете французский язык? – спрашивает меня капитан. – Тогда скажите мне, правильно ли написано здесь по-французски. Это обращение нескольких ваших товарищей к французскому послу в Москве с просьбой о направлении их в армию генерала де Голля.

Нет, это далеко не безупречный французский язык. Тот, кто это писал, не был даже родом из Эльзаса. Я подчеркиваю все красным карандашом.

– Вы не могли бы позаниматься со мной французским языком? – спрашивает меня капитан. И позднее добавляет: – А как у вас с английским языком? Не могли бы вы дать несколько уроков английского нашему майору?

А ведь это шанс! Преподаватель иностранных языков в русском штабе армии рядом с линией фронта! Возможно, мне удастся снова перейти к своим!

Однако все оказывается не так просто, как может показаться на первый взгляд.

– Обдумайте хорошенько мое предложение, – говорит капитан в следующий раз. Он стоит передо мной. На нем изящный короткий полушубок. У меня за спиной находится конюшня, где мои товарищи по несчастью не могли ни сидеть, ни лежать. – Напишите сейчас листовку с обращением к своим товарищам в немецкой армии. Для вас эта листовка – самое важное из всего того, что вы до сих пор написали в своей жизни. Остальные пленные выступают уже сегодня. С вашим здоровьем вы вряд ли сможете выдержать этот переход.

– И что же конкретно я должен написать?

– Только правду. Напишите, что вы живы. Что в ближайшее время вас направят в лагерь. Что военнопленных кормят. Для Гитлера война проиграна. Те, кто продолжает оставаться с Гитлером, проиграют вместе с ним. Поэтому все немецкие солдаты и офицеры должны сложить оружие и сдать в плен победоносной Красной армии...

Когда я с листом белой бумаги и карандашом в руках снова стоял в конюшне среди восьмидесяти трех товарищей по несчастью, мне показалось, что все они отмечены знаком смерти. Я видел перед собой не живых людей, а скелеты. Они натянули на головы капюшоны маскировочных комбинезонов. Их глаза глубоко запали в глазницах. Это зловещие фигуры из пляски смерти.

Ничего более страшного нельзя было себе и представить!

Словно сквозь вату я услышал, как кто-то рядом со мной сказал:

– Я тоже однажды написал листовку. Там, в штабе армии, сидят еще два немца. Я должен вам сказать, те еще пташки. Но они получают отличную жратву. Нас уже воротило от супа из жирной баранины. Но потом капитан снова отправил меня сюда. Надо же сохранить хоть немного чести.

Я подумал: «Ты был слишком глуп для этого рискованного приключения, мой дорогой камрад».

Немного чести? А я и не знал, что честь можно делить на порции.

Когда там, по ту сторону фронта, прочтут листовку с моей фамилией, они от души посмеются. Никто не перебежит на сторону русских. Мне нечего опасаться.

И еще я подумал: «Каждому из вас, мои камрады, будет легче, чем мне. Если вас, конечно, не отправят прямиком на смерть. Большинство из вас не боится физического труда. Многие были до войны ремесленниками. Уж вы-то сможете пробиться. В отличие от меня никого из вас большевики не будут считать своим врагом. Я смогу дурачить большевиков совсем недолго. Здесь, вблизи линии фронта, у меня еще есть шанс снова пробиться к своим».

Моя листовка понравилась капитану.

Вечером того же дня я уже носил поверх своей серой полевой формы гимнастерку защитного цвета хаки – русскую военную форму. На каждой пуговице этой носимой навывпуск гимнастерки красовалась маленькая советская звездочка.

– Вот только с меховой шапки вы должны снять звездочку! – сказал извиняющимся тоном улыбчивый капитан.

Я совсем не расстроился по поводу того, что мне было приказано снять этот красный атрибут власти.

Но какое значение могло иметь то, что я совсем не расстроился по этому поводу? С моей стороны это была наименьшая форма протеста против того ужасного факта, что теперь я действительно встал на сторону врага.

Во всех отношениях я был совершенно один.

Пессимизм разъедал мое сердце, словно кислота: смогу ли я действительно справиться с такой трудной задачей и перейти линию фронта, чтобы снова попасть к своим?

– Я думаю, что такого интеллигентного человека, как Гельмут, – речь шла обо мне, – майор вскоре пошлет на передовую, – однажды услышал я, как одна из пташек говорит другой. Впрочем, кроме меня, здесь находилось еще трое немцев, которые, чтобы остаться в живых, сотрудничали с русскими. Так же как и я, одетые в форму красноармейцев, они трудились в седьмом отделе пропаганды в штабе советской 10-й армии.

Ганс, берлинец с расплывшимся мясистым лицом, был до мобилизации трудолюбивым служащим в торговой фирме. Он охотно печатал на пишущей машинке. Вносил поправки в текст листовок и уже выучил несколько иностранных выражений: «пролетарское классовое самосознание», «подвергать большевистской самокритике» и тому подобное.

Между прочим, это именно он сказал о «возможной отправке на передовую такого интеллигентного человека, как Гельмут». Очевидно, во мне он видел человека своего круга. Его классовое самосознание нашло яркое выражение в таком мнении об остальных: «Двое других глупы как пробки!»

Герхард охотно пилил вместе со мной дрова для нашего маленького блиндажа, в котором, кроме нас, четверых немцев, в какой-то степени в качестве почетного караула, спал и денщик майора. Герхард постоянно беспокоился из-за того, что его теплые немецкие фетровые ботинки могут пострадать от открытого огня.

– Ну конечно, я хотел бы сохранить эти ботинки, чтобы носить их и дома в Йене.

Он был вагоновожатым и радостно предвкушал, что теперь, после войны, у него никогда не будут мерзнуть ноги в кабине трамвая.

Своего рода старшим по званию среди нас был уроженец Вупперталя. Он уже окончил знаменитую антифашистскую школу в Москве и хорошо разбирался во всех вопросах:

– Я читал твою листовку. Сразу видно, что так написать мог только старый антифашист.

Мой рецепт был прост: только бы никого не раздражать!

Я попросил вуппертальца объяснить мне диалектический материализм, как его понимал товарищ Сталин.

– Ты же должен это точно знать! – польстил я ему.

Я не забывал постоянно восхищаться большими познаниями Ганса в русском языке. Он ежедневно просил у капитана газету «Правда»:

– Хотя я пока еще не все понимаю, но в любом случае я хочу выучить русский язык.

Но охотнее всего я проводил время с Герхардом, коммунистом-вагоновожатым из Йены. Он действительно сам верил в то, о чем говорил:

– Как только Красная армия окажется в Германии, русские товарищи сами увидят, как сильно мы им нужны. Конечно, здесь, в России, тоже не все так радужно. Коммунистам пока приходится здесь нелегко, и не каждый может добиться успеха. Товарищ капитан сам признался мне в этом. Но представь себе, как будет здорово, если мы построим советскую Германию! Мы, немецкие рабочие, добьемся гораздо большего, чем эти русские!

Но эти трое немцев были для меня всего лишь жалкими шавками.

Позднее я узнал, что вскоре Герхард сам сломал себе шею, так как написал резкую жалобу на нашего майора: «Или вы относитесь ко мне как к немецкому товарищу по партии, и тогда как политический сотрудник я требую обеспечить меня обещанным офицерским пайком. Или же вы рассматриваете меня как пленного фашиста, тогда отправьте меня в лагерь для военнопленных». После того как Герхард не вернулся из штаба, капитан сказал нам, что его якобы перевели в дивизию.

С Гансом лишь однажды у меня была небольшая размолвка, так как я без спроса взял у него его немецко-русский словарь. Я хотел выучить некоторые фразы. Например, такие: «Я партизан! Как мне перейти линию фронта в тыл к немцам?»

И вупперталец тоже был всего лишь жалкой шавкой. Я действительно не знал, почему я «не дал бы ему ни капли воды, даже если бы он был при последнем издыхании», как часто говорил мне Ганс.

Нет, этих троих я всегда считал полными ничтожествами. Какой же приятной музыкой звучали в моих ушах их рассуждения о том, что в следующий раз капитан, видимо, возьмет меня с собой для проведения пропагандистской акции на фронте!

Пропагандистская акция на фронте? Что это такое?

– Однажды вечером приедет МГУ, большой грузовик с громкоговорителями. На нем вы подъедете к линии немецких траншей на расстояние около километра. Потом капитан даст тебе текст. Только читай медленно. Вообще-то радиус действия громкоговорителей составляет более пяти километров. Во время обстрела ты должен при любых обстоятельствах продолжать говорить. А через два-три дня вы снова вернетесь сюда.

По ночам, когда я засыпал в нашем блиндаже, накрывшись маскхалатом, мне часто снилась наша поездка в прифронтовую полосу и тот километр ничейной земли, который будет отделять меня от линии немецких траншей.

Однако при общении с другими я делал вид, что поездка на фронт меня совсем не интересовала. Герхард даже как-то спросил меня:

– Да ты, кажется, боишься?

Глава 5

Дело складывалось таким образом, что последнюю ночь перед поездкой на фронт я провел в лихорадочных думках. Я взглядом попрощался с тремя шавками: «Вы никогда меня больше не увидите!» Потом я начал представлять себе, как вырву пистолет из рук капитана. Внезапно у меня мелькнула ужасная мысль: а вдруг и на этот раз мне не хватит каких-нибудь жалких трех метров, чтобы, преодолев русские позиции, успеть добежать до своих, до линии немецких траншей?

Однако все сложилось совершенно иначе, совсем не так, как я себе это представлял. Первая же придуманная мной удобная возможность для побега возникла и была упущена. Однако обо всем по порядку.

– Значит, вы не можете читать без очков? – спросил меня капитан около четырех часов пополудни. – Какие очки вы носите?

– Минус пять!

Через полчаса капитан принес мне очки. Это оказались очки самого товарища майора. Минус два с половиной.

– Ну как? С ними теперь получше?

Да, теперь было уже гораздо лучше.

Оставалось только припаять оправу, сломанную на переносице.

– Об этом позаботится механик в грузовике с громкоговорителями. МГУ вот-вот подъедет.

Оказалось, что МГУ оборудован просто отлично. Там имелась просторная кабина с различными микрофонами. Со сдвоенным электропроигрывателем. Со шкафом, полным пластинок: «На прекрасном голубом Дунае», «У колодца у ворот». С любимыми и милыми немецкими народными песнями. С ласкающими слух вальсами, но также и с мощным, грозным казачьим хором.

В этой кабине можно было спать на трех широких лавках. Здесь имелся и маленький откидной столик, за которым удобно работать. Казалось, что подумали обо всем: о соединительных кабелях, о печке и о ящике с продуктами. Так что выезд на фронт мог проходить в комфортных условиях и не был таким уж рискованным.

Натужно ревя мотором, наш грузовик уже несколько часов ползет по заснеженной дороге, которая вьется среди невысоких холмов. Иногда случаются дорожные заторы. Мы обгоняем колонны, которые тоже спешат на фронт. В этих случаях в наш адрес летят проклятия. Но МГУ, автомобиль штаба армии, имеет право преимущественного проезда! Об этом заботится механик, который сидит впереди в кабине рядом с водителем.

В задней просторной кабине я остаюсь вместе с капитаном, который лежит на одной из лавок, укрывшись белым полушубком. У него светло-русые волосы и узкий клинообразный подбородок. Типичные широкие славянские скулы и серые глаза, которые напоминают оптический прибор. Сейчас эти глаза испытующе и беспристрастно смотрят на меня, немецкого военнопленного. В красноармейской шинели со слишком короткими рукавами я чувствую себя довольно неуютно. Я кажусь себе беззащитной птичкой перед взором тигра.

– Вы родом из Москвы, капитан? – прерываю я затянувшееся молчание. Иначе оно просто поглотит меня.

– Нет, из Сибири.

– Из такой дали?

– До моей родной деревни отсюда в пять раз дальше, чем до Германии. В Сибири крестьяне едят только белый хлеб. Сибирь очень красивая.

– Вы кадровый офицер, капитан? – продолжаю я разговор после небольшой паузы. Мне жаль, что до сих пор вопросы задавали только мне, поэтому сейчас я пытаюсь наверстать упущенное. К тому же сейчас вблизи линии фронта я говорю уже не как военнопленный, а скорее как человек, который чувствует себя почти среди своих. Вот у меня появилась возможность поговорить с русским офицером, который производит на меня хорошее впечатление. Так надо поскорее задавать ему вопросы.

– Я учился в Москве. Я совершил пять прыжков с парашютом. Я был раньше учителем физкультуры. Кроме того, изучал литературу, – говорит капитан, делая большие паузы и кутаясь в полушубок.

– Я удивляюсь, что вы хотите изучать еще и французский язык.

– Нужно много знать. Сначала я изучал немецкий язык. А позже буду учить английский. Через несколько лет.

– Я должен признаться, капитан, что это производит на меня большое впечатление. Даже товарищ майор каждую ночь в течение часа занимается изучением иностранного языка. Советские офицеры не считают себя слишком гордыми, чтобы учиться.

– Дело в том, что сейчас вы находитесь при штабе армии. Далеко не все советские офицеры такие. – И мой собеседник поднимается со своего мягкого ложа. С улыбкой достает из кармана пачку папирос «Ява» с длинным картонным мундштуком. – А вы знаете, Гельмут... – говорит он. И меня впервые не раздражает то, что русский офицер обращается ко мне, как к батраку, по имени и на «вы». – А вы знаете, Гельмут, почему у наших русских папирос такие длинные картонные мундштуки? – С этими словами он протягивает мне одну из этих элегантных папирос.

– Нет.

– Потому что в противном случае во время курения на морозе можно было бы сжечь перчатку. Понимаете, если бы не было этого длинного картонного мундштука, мы не могли бы курить в перчатках. Мало кто знает истинную причину возникновения таких длинных мундштуков. Думают, что это просто игра случая. Однако все в мире имеет свою причину.

Вероятно, этой репликой капитан собирается начать длинный философский разговор.

Наш автомобиль продолжает с ревом ползти по занесенной снегом дороге. Очевидно, до полуночи мы не доберемся до цели. В нашей кабине тепло. Механик убрал со стола остатки ужина – рисовый суп с бараниной, кусок хлеба, пласт сала.

– Будем пить чай?

Я делаю вид, что сплю. Надо ли прежде возненавидеть, презирать и поносить врага, которого хочешь победить? Я не настолько впечатлительный, чтобы тотчас не лишиться жизни этого капитана, если тем самым я смог бы наверняка купить свою свободу. Или он, или я? Кто решит эту дилемму не в свою пользу? Однако если сегодня ночью я убью этого капитана, то я не хотел бы встретиться с ним позже, как говорят, у трона Господнего. Надеюсь, что он сразу умрет, а не будет смотреть на меня, корчась от боли!

Наш грузовик потряхивает все сильнее, так как в прифронтовой полосе вся дорога изрыта воронками от снарядов. Почему мне в голову пришла такая мысль: позже у трона Господнего?

Сильных не гнетут те грехи, которые они совершили.

Только слабых гнетут грехи, которые им, возможно, придется совершить в будущем.

Да кто говорит, что во время побега я должен обязательно застрелить капитана? Просто мои нервы измотаны вконец.

Я слышу вдали глухие взрывы. Наша кабина раскачивается, как лодка в шторм. Из встроенного шкафа на пол падает ручной микрофон. Но капитан продолжает спокойно курить свою «Яву». Одну папиросу за другой. Нам предстоит еще долгий путь, прежде чем мы прибудем на место. Лампочка в кабине затемнена и горит вполнакала.

Кто знает, о чем думает капитан. Уж точно не о войне. Он цитирует стихотворение. Это немецкое стихотворение:

Мое сердце билось в такт быстрой скачке!
Все свершилось, не успел я и подумать,
Тихий вечер уже убаюкал землю,
А на горных вершинах повисла ночь.

– Это Гёте. Ведь я изучал и немецкую литературу, – не без торжества в голосе говорит капитан. И поскольку я, как «образованный немец», не продолжаю цитировать это стихотворение, он сам заканчивает его. И теперь это звучит уже хвастливо:

Завернувшись в плотный туман, дуб стоял,
Как внезапно возникший предо мной великан,
Там, где из кустов непроглядная тьма
Смотрела на меня сотней черных глаз.

Однако, когда капитан после небольшой паузы еще раз повторяет, наслаждаясь каждым словом:

Смотрела – на меня – сотней – черных – глаз,

я вдруг осознаю, что этот капитан из Сибири выучил стихотворение великого немецкого поэта Гёте не потому, что «знание – сила», а потому, что оно входило в программу по литературе.

– Да это же просто невероятно! Да это же просто невероятно! – восклицаю я, вскакивая со своего откидного сиденья.

– Невероятно? Что именно невероятно?

– Невероятно? – Просто я хотел сказать, что я поражен.

Да, я действительно поражен. Именно эту строку «Мое сердце билось в такт быстрой скачке!» я услышал несколько месяцев тому назад от нашего полкового адъютанта, когда впервые прискакал верхом на лошади в штаб полка для получения приказа. Поразительно: наш адъютант процитировал тогда эту строку только потому, что я случайно прискакал на лошади. И он тоже спросил меня тогда:

– Вы знаете это стихотворение?

– Так точно, господин старший лейтенант! – ответил я.

И он тоже задумчиво повторил слова: «Из кустов непроглядная тьма смотрела на меня сотней черных глаз».

Я действительно был просто поражен, когда услышал те же самые строки из уст русского офицера. Описывая здесь этот случай, я не хочу ничего доказать. Не все в жизни можно обосновать так же легко, как тот факт, почему у русских папирос такой длинный картонный мундштук.

Так проходит час за часом. Постепенно заканчивается и ночь, от которой я ожидал так много.

Наконец автомобиль останавливается. К нам в кабину поднимается русский офицер. Вместе с капитаном он снова куда-то уходит. Механик устанавливает на крышу кабины громкоговоритель. Я закрепляю на пюпитре три текста. Громкоговоритель ревет, как тяжелая мортира: «На прекрасном голубом Дунае».

По сигналу я начинаю читать. «Немецкие – солдаты – и – офицеры! – В – котле – под – Курском – победоносная – Красная – армия – уничтожила – одиннадцать – немецких – дивизий. – Здесь – говорит – ефрейтор – Гельмут – Бон. – Положите – конец – безумию! – Сдавайтесь – в – плен – по – одному – и – группами...»

Немецкая батарея открывает редкий огонь по моему механическому голосу. «Эта чушь большего и не стоит!» – видимо, говорит командир батареи, отсчитывая несколько снарядов, которые он получил сегодня для ведения ночного огня.

«Немецкие – солдаты – и – офицеры!»

А немецкие офицеры нашей дивизии спрашивают сейчас в моем батальоне:

– Есть у вас такой ефрейтор, Гельмут Бон?

– Так точно. Числится пропавшим без вести с 3 февраля, – отвечает мой батальон.

– Эта свинья сейчас ведет пропаганду на стороне Иванов! – укоризненно говорит начальник дивизионной разведки.

– Ну и что! – ответят в моем батальоне. У моих товарищей сложилось хорошее мнение обо мне. Вместе с сообщением о пропаже без вести они, недолго думая, пошлют моей жене и мой Железный крест. – К сожалению, он не может получить его лично. За храбрость, проявленную в бою с врагом!

«Немецкие – солдаты – и – офицеры!»

Уже более двух часов я читаю подготовленные для меня тексты.

«Здесь – говорит – ефрейтор...»

Этот древний громкоговоритель каким-то магическим образом сам вытягивает из меня чужие слова. Со страшным грохотом посылает их за линию фронта в немецкие траншеи. Мне остается только подуть, выдохнуть звук в этот маленький микрофон – и он с грохотом разнесется окрест.

Мне нравится звучание произносимых мной слов, которые льются из моего рта помимо моей воли.

По всей видимости, мной овладел злой дух машины. И я прихожу в ярость, когда немецкая артиллерия пытается прервать мою чрезмерную болтовню несколькими залпами. Пусть качается кабина! Пусть воет шторм! Зачем же водитель запускает двигатель?

Нет, я не успокоюсь! Поэтому я продолжаю вколачивать свои слова. С таким голосом – и замолчать? Черт побери, я же не трус!

«Немецкие – солдаты – и – офицеры!»

По мере того как мой голос снова и снова гремит в ночи, боевые товарищи из моего отряда все глубже втягивают голову в плечи. Они сидят на корточках на своих временных позициях и разговаривают между собой: «Разве война не безумие? Но мы простые ополченцы, которые не начинали эту войну, не можем ее и закончить. Эту войну могут закончить только те, кто наверху». Потом некоторое время они посидят в задумчивости. Разумеется, никто не перебежит на сторону русских. А потом они, возможно, выпустят очередь из своего пулемета MG-42. Порадуются, когда из его дула вырвутся сотни пуль. И им будет совершенно все равно, в кого они полетят! «Как это ошеломляет! Как это ошеломляет!»

И когда противник откроет ответный огонь, они скажут: «Черт побери, мы же не трусы!»

Охваченные яростью, они нанесут ответный удар. Слава духу машин! И будут стрелять снова и снова!

«Немецкие – солдаты – и – офицеры!»

Наконец капитан подает мне сигнал остановиться.

– Ну, как все прошло? – спрашиваю я.

После того как капитан улегся на расстеленный полушубок, проходит некоторое время, прежде чем я прихожу в себя. Сейчас у нас перерыв. Мы останемся здесь с выключенным громкоговорителем еще два часа. Я обязан выяснить, смогу ли я теперь бежать.

– Капитан! – тихо зову я.

Он не шевелится.

– Капитан! Товарищ капитан! – повторяю я громче. – Можно мне выйти по нужде?

Даже полностью не очнувшись от сна, он разрешает. Боже мой, он продолжает спокойно лежать лицом к стене даже тогда, когда я нажимаю дверную ручку.

В этом автомобиле дверь открывается точно так же, как и в вагоне скорого поезда.

Здесь есть ступенька, как в солидном лимузине, с рифленным резиновым покрытием и толстой металлической планкой. Оказавшись снаружи, я осторожно поворачиваю дверную ручку тонкой ручной работы...

Но здесь же повсюду снег.

Мягкие пушистые сугробы по колено, в которых я тотчас утопаю, сделал всего лишь один шаг вперед.

И я еще собирался бежать, наивный мечтатель?

Там, на той стороне леса, уже Германия. Там сытая жизнь, письма родных и надежда. Там свобода, думаю я.

Наш грузовик стоит под сенью нескольких высоких сосен. Передо мной раскинулось бескрайнее заснеженное поле. Никто не сможет перейти его, не попав под огонь русских автоматов или немецких пулеметов MG-42. Там, на той стороне леса, уже Германия.

Через три минуты я возвращаюсь назад к машине. Двадцать шагов по этому глубокому снегу. Скорее назад в тепло кабины.

А ведь я уже стольким успел пожертвовать: убеждениями, своим именем, «частичкой чести». Но ничего не получил взамен. Ничего? Во всяком случае, не свободу.

Но я подожду. Только бы ничего не сделать неправильно!

Глава 6

В феврале и марте 1944 года фронт постоянно перемещался на запад.

Штаб советской 10-й армии тоже снова и снова передвигался в западном направлении. В таких случаях седьмой отдел пропаганды поскорее паковал свои пишущие машинки с русским и немецким шрифтом. Я тоже двигался в западном направлении на каком-нибудь грузовике, до отказа нагруженном кроватями, ящиками и узлами с вещами. Вместе с советскими офицерами. Интеллигентными и грубыми. Такими, как уроженец Ленинграда, города, основанного еще Петром Великим. И другими, из вшивого Смоленска (усилиями захвативших его немцев. – *Ред.*) или с далекого Байкала. Множество грузовиков деловито двигалось по забитому шоссе на запад.

Перед каждым новым выступлением начальник штаба, строгий подполковник, руководствуясь мудрыми указаниями великого Сталина, проводил смотр всего этого упакованного беспорядка. Только после того, как он, в черной папаше и серой кавалерийской шинели, истинный сын матушки-России, проезжал мимо, все усаживались на свои грузовики.

Потом начинали играть гармошки, и все запевали песню о Стеньке Разине или «Катюшу», песни с бесчисленным числом куплетов.

– Ты все еще не можешь говорить по-русски! – говорили они мне и уступали мне часть своей теплой попоны. Однако снег все равно задувал под нее.

Один из них спросил меня:

– Как правильно сказать по-немецки пленному: «Если вы не будете говорить правду, вас расстреляют!»?

Как только мы добирались до места назначения, какой-нибудь заброшенной дерегушки, очень быстро все снова входило в свою колею и налаживался привычный быт. Да же в самой захудалой избушке, которая оставалась нам, блудным сынам Германии и денщику майора Сергею, постоянно соблюдался установленный распорядок дня.

Почему я должен вставать в такую рань? Ведь еще только девять. Однако Сергей уже давно встал. Он уже успел почистить сапоги товарища майора... Сейчас он идет на кухню за завтраком: немного каши с маслом, немного супа, кусок белого хлеба, от которого Сергей тайком отрезает себе тонкий ломтик, прежде чем отнести все майору. «Да, да, классовая борьба!» – думает Сергей. Он сам получает только черный хлеб.

Между тем уже почти половина десятого. Если я сейчас встану, то успею быстренько подмести солому, которая каждую ночь высыпается из наших тюфяков. Кто-то из нас должен это делать. Когда подметаю я, у остальных сразу улучшается настроение. Ганс любит ходить на кухню за завтраком. У него хорошие отношения с Шурой, которая часто дает ему лишний ломоть хлеба. Кроме того, он говорит по-русски.

Черт его знает почему, но я не наедаюсь досыта нашими порциями. Ведь остальные получают не больше, чем я. Более того, Герхард частенько оставляет мне немного своего супа. Возможно, я так изголодался во время первых десяти дней плена, когда нас держали в загоне для коз. Кроме того, меня постоянно мучает понос.

С этим тоже вышло довольно глупо. Когда в первый же день пребывания в штабе армии я получил причитавшиеся мне сто двадцать граммов сахара, уже к вечеру я съел все эти сто двадцать граммов. Хотя и не собирался делать этого! От этого у тебя будет понос, сказал я себе. Но я никак не мог остановиться, поглощая один кусок сахара за другим. Сахар с шипением растворялся у меня во рту, как испаряется вода на горячем камне.

Хорошо еще, что у меня много туалетной бумаги – моих листовок. На них крупными буквами выделяется заголовок: «Гельмут Бон и Альфред Крупп». Ниже идет текст следующего

содержания: «Гельмут Бон зарабатывает триста марок в месяц. Альфред Крупп – несколько миллионов. Разве это справедливо?» Я пытался переубедить майора, но он считал, что текст хорош. Теперь я использую эти написанные кем-то листовки с текстом, где речь шла обо мне, в качестве туалетной бумаги. Так сказать, месть маленького человека. Интересно, сколько же экземпляров этой чепухи напечатали большевики? Если они там по ту сторону линии фронта прочтут, что я якобы был торговым служащим у Круппа, они просто животы надорвут от смеха. Но если эти здесь узнают, что это не соответствует действительности...

– Если капитан не появится до половины одиннадцатого, то тогда мы займемся просмотром писем! – заявляет Ганс.

Что еще за письма?

Перехваченная немецкая полевая почта!

– Ты должен подчеркивать красным карандашом все те места, где речь идет о недовольстве в Германии, – говорит Ганс. – А также все остальное, что может заинтересовать капитана. Да ты и сам увидишь.

Я достаю из почтового мешка, на котором все еще красуется атрибут власти со свастикой, целую дюжину писем.

Эти письма уже никогда не дойдут до своих адресатов. Кто-то из них, возможно, лежит мертвый под снегом или находится в плену, как и я сам.

«Дорогой Гансик! – пишет некая фрау Бауэр из баварского городка Байройт. – Почему ты пишешь так редко?»

«Я так тоскую по тебе...» – часто мелькает в других письмах.

«Я положила в конверт маленький рисунок нашей дочурки Карин. Вчера у нее был день рождения. Она уже выросла такая большая. Свои цветы она поставила под твоей фотографией. Для папочки...»

«Нам очень тяжело. Но я всегда буду верна тебе. Ты можешь целиком и полностью положиться на меня!»

– А почему конверты уже открыты? – спрашиваю я, доставая из мешка новую пачку писем.

– Это они делают там, в штабе у майора. Иногда в конверты вкладывают деньги. У каждого из них чемоданы уже битком набиты немецкими купюрами по двадцать марок. Они собираются тратить их позже в Германии.

В одном пока еще заклеенном письме я тоже нахожу двадцать марок.

– Нет, нет! – говорит Ганс. – Ты можешь оставить их себе. У нас у всех уже есть.

Вот так подмазка! Я быстро прячу в карман двадцать марок. Кто знает, на что они сгодятся.

После обеда мы поправляем нашу печную трубу. Она так дымила, что от дыма в избе было нечем дышать. Нам надо бы заменить и доски на наших кроватях.

– Давайте возьмем ворота от амбара! – предлагает вупперталец.

– Хозяйка будет ругаться, – говорит Герхард.

– Подумаешь! Она скоро сама сожжет их в печи... Потом скажут, что это сделали немцы. Мы можем спокойно распилить ворота. Кроме того, мы же Красная армия!

– Нет, нам не следует распиливать ворота. Для нас это не так важно. А амбарные ворота – это все же амбарные ворота.

Подумаешь! И мы распиливаем амбарные ворота. Вечером приходит хозяйка, чтобы одолжить нам свою алюминиевую кастрюлю. Когда она замечает распиленные амбарные ворота, то начинает рыдать, словно оплакивая смерть своего ребенка.

Каждый день хотя бы раз происходит какой-нибудь скандал на службе. Это случается и с моим другом, капитаном из Сибири.

– Да не стесняйтесь вы критиковать мой немецкий текст, который я составляю для листовок. Не чувствуйте себя военнопленным. Говорите мне честно, хорошо ли я написал по-немецки. – Я постоянно слышу это в разных вариантах от майора, от капитана, а также и от всех других офицеров отдела.

И всякий раз мой внутренний голос говорит мне: «Да пусть они печатают свою чушь! Чем глупее, тем лучше! Ведь, в конце концов, я хочу, чтобы войну выиграла Германия, а не Россия!»

Но когда я опять слышу: «Бронированный кулак Красной армии скачет от одной немецкой роты к другой...», я говорю:

– Минутку, товарищ капитан. Я бы не стал употреблять здесь глагол «хюпфен».

– Почему нет?

– Скакать может блоха. Бронированный кулак не может скакать!

Капитан с недовольным видом откашливается:

– «Хюпфен» означает перемещаться вперед прыжками. Неожиданно. Так же неожиданно должен действовать и бронированный кулак Красной армии, наносящий удары по немецким ротам.

– Все это верно, товарищ капитан. Но по-немецки так не говорят. Это звучит смешно, – пытаюсь я втолковать автору листовки.

Тот обижается.

– Означает «хюпфен» перемещаться вперед прыжками? – резко спрашивает он.

– Так точно, товарищ капитан!

– Написано предложение грамматически верно?

– Так точно, товарищ капитан!

– В таком случае предложение остается!

И я уже перестаю понимать самого себя, так как в душе искренне возмущаюсь из-за этой фразы: «Бронированный кулак Красной армии скачет от одной немецкой роты к другой».

Разве я сам не хотел, чтобы русская пропаганда была примитивной и неэффективной? Разве эта фраза не является образцом примитивной и неэффективной пропаганды? Разве своими вызывающими смех переводами капитан не исполняет мою волю?

Да, но он исполняет мою волю неумышленно.

Но я поступаю так, пытаюсь исправить его переводы, вполне сознательно.

Неужели я сошел с ума?

Позднее, когда у меня появляется свободная минутка, я говорю себе: многие люди всю свою жизнь делают то, что по логике вещей они никак не должны были бы делать. Иная жена крестьянина горбатится в своем хозяйстве, как батрачка, так как знает, что ее муж любит свою усадьбу. Но из-за тяжелой работы она очень быстро старится и теряет былую привлекательность, и ее муж находит утешение в постели с молодой работницей. Разве крестьянка хотела этого?

Иной сознательный рабочий добросовестно вытачивает на токарном станке снаряды, хотя он должен знать, что этими снарядами собираются убивать его братьев по классу в других странах.

Иной ярый националист в ходе тотальной войны разрушает свое отечество больше, чем самый ненавистный изменник родины.

Как же так происходит, что часто мы делаем не то, что хотим?

Это происходит потому, что мы далеки от собственной жизни.

Это происходит потому, что мы опрометчиво доверились красивым словам о добросовестной работе, заботливой любви, чести нации.

Но я и сам являюсь обычным слугой красивых слов. Им я служу больше, чем самому себе. Разве мог бы в противном случае я, человек, который утверждает, что любит немцев, сердиться из-за того, что какой-то честолюбивый русский своим «скачущим бронированным кулаком» оскверняет немецкий язык, делает его неэффективным для уха подлежащего пропагандистской обработке немецкого солдата-ополченца и тем самым щадит немцев?

Поскольку мы слишком слабы для создания живого единого целого, мы доверились части его. Мы уже больше не хотим самих себя. Так может погибнуть вся западноевропейская цивилизация. Сумерки уже наступают.

Однажды вечером, когда Сергей усердно чистит свой автомат, так как недавно из-за обнаруженной ржавчины майор обозвал его свиньей, майор приказывает мне явиться к нему на квартиру.

– На каком уроке мы остановились?

Умилительно, как послушно он выучил записанные в тетрадку английские слова и выражения.

– Прочтите последний абзац еще раз, товарищ майор!

В большой, как в доме помещика, комнате очень душно от жарко натопленной печи.

– Подкинуть еще полено, товарищ майор? – спрашиваю я. В большом самоваре и для меня останется чашка чаю.

Потом я занимаюсь французским языком с капитаном.

Товарищ Феодора, степенная прибалтийка и одновременно старший лейтенант Красной армии, уже скрылась за занавеской, где стоит ее кровать. Свою гимнастерку с несколькими орденами она аккуратно повесила на спинку стула.

В комнате ощущается сильный аромат французского одеколона.

Совсем юный лейтенант до тех пор крутит ручку настройки трофейного радиоприемника марки «Сименс», пока не находит немецкую танцевальную музыку. «Звезда Рио»...

Я беседую с недавно переведенным в 7-й отдел капитаном. У него темные волосы и смуглая кожа.

– Как же так случилось, что в Германии вы были всего лишь торговым служащим? – интересуется он у меня. – Вы же владеете несколькими иностранными языками и хорошо образованы!

Уж лучше я подсяду к лейтенанту у радиоприемника. Они все еще передают «Звезду Рио». При звуках этой пошлой музыки у меня чуть было не навернулись на глаза слезы.

– Послушайте, Гельмут, почему у вас на гимнастерке почти всегда расстегнута одна пуговица? – с недовольным видом напускается на меня майор.

– У меня нет ни иголки, ни нитки, ни пуговицы! – отвечаю я, стоя по стойке «смирно».

– Это нарушение дисциплины. Подойдите завтра к товарищу Феодоре. Она выдаст вам все необходимое. Завтра. А сейчас отправляйтесь спать.

Я бреду в одиночестве по искрящемуся снегу к нашей крытой соломой избе. Ярко светит луна. Я лежу в постели и никак не могу уснуть.

Есть ли тут где-нибудь женщины?

Я мечтаю о том, чтобы в деревню ворвались танки. Внезапно! Немецкие танки с черными крестами. Из башни выглянет командир в черном комбинезоне. Тогда я буду свободен. Но ведь командир в черном комбинезоне прикажет расстрелять капитана из Сибири. И Сергея, и товарища Феодору. Да, наверное, и меня, как немца в советской форме. Да, пожалуй, будет очень трудно. Но тем не менее пусть прорвутся немецкие танки.

Вскоре я засыпаю.

Когда наступило утро, я понял, что не приедут никакие немецкие танки, чтобы освободить меня.

Все более призрачной становилась и надежда, что меня когда-нибудь пошлют за линию фронта в тыл немецких войск с каким-нибудь ответственным заданием. Они никого не посылают через линию фронта как доказательство того, что не убивают пленных. Это оказалось обычной болтовней. Легендой. И если бы такое случилось со мной, то это было бы настоящим чудом!

Но ведь я же прислушивался к тому, о чем говорили другие!

– Если вы хороший антифашист, то мы пошлем вас в антифашистскую школу в Москву! – так сказал мне новый капитан. – Вполне возможно, что через три месяца война уже закончится. Тогда мы пошлем наших антифашистов в Германию. Из рядов Национального комитета «Свободная Германия» в Москве будет образовано новое германское правительство. Тогда никто из антифашистов из рядов немецких военнопленных не будет лишним, и его тоже смогут послать в Германию!

Через три месяца война может закончиться? Сколько же может пройти времени, пока всех немецких военнопленных отправят в Германию?

Я осторожно спрашиваю капитана-сибиряка:

– Наверное, пройдет лет десять, прежде чем я снова увижу Германию, даже если война и закончится через три месяца. Как вы думаете, товарищ капитан?

Он тщательно расправляет гимнастерку под прекрасным офицерским ремнем:

– Десять лет? Да нет, вам не стоит бояться. Дольше чем на одну пятилетку мы не будем удерживать здесь немецких военнопленных.

А я ожидал услышать от него: «Конечно, как только смолкнут пушки, Советский Союз тотчас отпустит всех военнопленных». Разве такой шаг не был бы наилучшей пропагандой коммунизма?

Пять лет!

Не имеет никакого смысла терпеливо ждать, пока меня с общим потоком прибудет к родному берегу.

Я должен обязательно попасть в антифашистскую школу в Москве!

Я должен убедить нового капитана, этого честолюбивого офицера, в том, что я хороший антифашист.

Однако я совсем вымотался. Я уже и сам потерял веру в то, что мое спасение достойно чуда Господнего. Оставалось только подличать и притворяться.

И здесь меня начали преследовать неудачи, одна напасть следовала за другой. Сначала я уронил ведро в обледенелый колодец. Потом Москве не понравилась моя листовка. Мои израненные и загноившиеся пальцы никак не хотели вылечиваться. Один из тех офицеров, который пользовался в штабе большим влиянием, отчитал меня:

– Да в вас самих осталось еще много фашистского!

Но самым печальным для меня было то, что я уронил ведро в колодец. Это ведро принадлежало майору. И я должен был принести ему холодной воды из колодца. Когда я, лежа на животе, заглянул в обледенелое отверстие колодца, то увидел, что шест, к которому я привязал ведро майора, был пуст. Я в отчаянии всматривался в темную воду. Несколько минут я усердно шуровал шестом в этой жуткой шахте. Но нигде не смог обнаружить пропавшее ведро, которое нельзя было ни в коем случае потерять. Оно бесследно исчезло.

Я сам чуть было не свалился в этот проклятый колодец.

У меня самого не хватило мужества рассказать майору о пропаже ведра, которым он очень дорожил. Об этом ему сказал Сергей.

Когда на следующий день я осмелился показаться майору на глаза, он не стал меня ругать.

Что же касается листовки, которую Москва вернула в штаб 10-й армии, то здесь дело обстояло следующим образом: постепенно я перестал возмущаться из-за того, что русские офицеры упрямо настаивали на сохранении своих текстов, написанных на плохом немецком

языке. Но именно за это Москва и объявила строгий выговор майору Назарову, начальнику 7-го отдела: «Ваши листовки, которые должны побуждать фашистских солдат к сдаче в плен, написаны на плохом немецком языке, вызывающем только смех!» Так Кремль сказал свое веское слово.

Теперь мы, немцы, должны были заверять личной подписью каждую листовку, которую мы получали для стилистической обработки. Но даже и теперь к нашему мнению не особенно прислушивались.

Я все теснее и теснее работал с врагом, который намеревался победить мою родину. Это стоило мне все больших моральных издержек. А желанная свобода отдалялась все дальше и дальше. Да, а разве она сама уже не была мертва, окончательно и бесповоротно, еще в марте 1944 года и в самой Германии! Я уже всего наслушался.

Однако я споткнулся на совершенно неожиданном месте. Не потому, что однажды после ожесточенного спора о жизненном уровне в Германии новый капитан заявил:

– Только потому, что вы сами еще слишком сильно пропитаны фашистской идеологией, вы утверждаете, что в фашистской Германии рабочие живут хорошо.

Споткнулся я из-за того, что никак не хотели заживать небольшие трещины на обоих средних пальцах моих рук, которые я заполучил еще во время службы в немецкой армии. Это было напоминание о моем товарище Абельс-Венсе, который тщетно пытался научить меня правильной посадке на лошади. Когда его ранило в живот осколками мины, я тащил его на носилках по открытому со всех сторон полю. То поле было красным от крови. Когда поблизости разорвалась еще одна мина, я вместе с носилками покатился вниз с горы. Я пытался тормозить голыми руками и до крови стер костяшки пальцев.

В многочисленные ссадины попали грязь и лед. Русская женщина-врач в штабе армии, которую я посещал через день в ее медпункте, где она в военной форме, но босиком, как «гусятница Лиза», лечила также и сельских жителей, очень жалела меня, когда обрабатывала костяшки моих пальцев едкой дезинфицирующей жидкостью. Они уже распухли до безобразия. Но так как руки постоянно соприкасались с холодной водой, с каждым днем мне становилось все хуже и хуже.

«Я буду умываться только при крайней необходимости!» – сказал я себе. Я сообщил капитану, что не смогу приносить ему холодную воду: на морозе мои повязки примерзают к рукам!

Однажды утром майор отругал меня за то, что я, по его мнению, плохо выбрит и почему я не попросил у него бритву. Он решил, что я вообще не умывался.

На следующее утро, ни свет ни заря, в нашу избу заявился капитан-сибиряк. Он хотел знать, почему я не размножил его тексты, которые он вручил мне в час ночи.

Мне было приказано подготовиться. Я должен был сдать русскую военную форму, включая русское нижнее белье! Меня отправляют отсюда!

Мелькнула надежда: в госпиталь?

Нет, не в госпиталь!

А как же занятия по французскому и английскому языкам?

– Они здесь всегда начинают с большой помпой, но потом быстро охлаждаются, – еще раньше предсказывал мне Ганс.

Итак, меня убирают отсюда.

В дверь просовывает свою мрачную физиономию «тряпичный» майор:

– Ну, давай!

Он здесь единственный, кто не говорит по-немецки. Он отвечает за имущество, поэтому мы называем его «тряпичный» майор. От него всегда сильно пахнет махоркой. Не французским одеколоном, как от нашего шефа. Вчера он сидел у себя на складе на столе и подгонял огромный овчинный тулуп. И вот теперь вместе с ним я направляюсь к выходу из деревни.

У последней избы, где в мартовское небо упирается десятиметровый журавль колодца, он приказывает мне подождать. Хорошо, что он сует мне под мышку целую буханку хлеба. Пройдя несколько шагов, протягивает мне полбанки тушенки. Затем показывает мне жестами, что эту тушенку я должен съесть немедленно, а хлеб лучше спрятать под маскировочный комбинезон.

– Понимаешь, ферштейн? – говорит он.

Я чувствую огромное облегчение. «Ты должен знать, что, пока тебя официально не зарегистрировали, каждый может тебя пристрелить!» – неоднократно говорили мне штабные шавки. Но сейчас, когда рядом со мной шагает «тряпичный» майор, плевать я хотел на всякую регистрацию.

Разве солнце уже не пригревает?

Разве в скворечниках скоро не появятся первые пернатые обитатели?

По дороге, поднимающейся круто в гору, нам навстречу весело бежит лошадка, запряженная в сани. Снег летит у нее из-под копыт. Конечно, это не знаменитая задорная русская тройка, о которой писал старик Толстой. Тем не менее в сани запряжен настоящий русский конь. Что-то живое останавливается рядом со мной.

– Что такое, Гельмут? – удивляется Максим, помогавший у нас на кухне, когда видит, что на мне снова немецкая форма.

– Не знаю! – смущенно отвечаю я ему по-русски.

Мы продолжаем свой путь, а Максим снова направляет коня рысью в деревню.

Перед последним переездом шагающий рядом со мной майор приказал нам сжечь целый ящик с пропагандистскими брошюрами:

– Черт знает что! К черту этот хлам!

«Тряпичный» майор оказался далеко не самым худшим из них!

Глава 7

Когда он меня оставил, я оказываюсь в сарае без крыши среди тридцати военнопленных, которые еще три дня тому назад находились в рядах немецкой армии.

– Откуда ты появился, совсем один? – спрашивают они меня.

Я стараюсь отвечать, не вдаваясь в подробности.

– Ты можешь сразу помочь пилить дрова. Радуйся, что ночью тебя не было здесь под открытым небом. Собачий холод!

Одна из стен сарая уже почти полностью разобрана. Вероятно, здесь побывало уже много военнопленных. Может быть, меня теперь тоже направят в лагерь. Кто знает, где лучше!

Однако ночью я ужасно мерзну в этом заснеженном сарае. Лучше бы я принес капитану воды для умывания! И лишь одно согревает мне душу – это то, что я снова слышу вокруг себя только немецкую речь.

Я почти в таком же отчаянии, как тогда в загоне для коз.

Утром до меня доносится голос с русским акцентом:

– Есть среди вас выпускники средней школы или гимназии?

Ребята, да это же честолюбивый капитан с черными волосами и смуглой кожей!

Он спрашивает у каждого из пяти человек, кто поднял руку, фамилию и профессию. Меня он спрашивает самым последним, как будто мы с ним никогда прежде не встречались. Я отвечаю, точно так же делая вид, что мы не знакомы.

– Следуйте за мной! – командует он.

Заметили ли остальные что-нибудь, когда он заговорщицки кивает мне?

– Разрешите спросить, господин капитан, если уж меня решили отправить в лагерь, почему я сначала должен неизвестно сколько дней жить в этих тяжелых условиях пересыльного лагеря?

– В чем дело? Кто говорит о лагере? У меня для вас новое задание. Само собой разумеется, что потом вы снова вернетесь в штаб. Но прежде вы какое-то время поработаете с товарищем майором С.

Тем временем мы уже отошли метров на сто от разрушенного сарая и поднялись к крестьянскому дому, в котором остановился товарищ майор С.

Что мне бросилось в глаза в резиденции майора С., так это то, что там никто, кроме самого майора, не говорил по-немецки. Невозможно было разобраться и в той полной неразберихе, которая царилась здесь.

– Вы хорошо разбираетесь в людях, как рассказывал мне товарищ майор Назаров, – так начал разговор мой новый собеседник.

В углу комнаты перед иконой стояла крестьянка и осеняла себя крестным знаменем. Очевидно, что она не понимала, о чем мы здесь говорили.

Между мной и майором завязалась упорная словесная дуэль. В конце концов он сказал:

– Сейчас вы вернетесь назад к остальным военнопленным. Если сегодня ночью я прикажу вас разбудить, вы назовете мне имена тех пленных, которые представляют для меня интерес. Лягте с краю самым первым у двери.

Несколько бойцов из команды майора, которым парикмахер только что остриг их зимние шевелюры, тупо ухмылялись, напоминая своими стриженными под ноль головами кегли в кегельбане. С глупым выражением лица они натирали друг другу лысины. Я сделал вид, что хочу спать, лишь бы больше не видеть этих стриженных остолопов и крестьянку, которая все еще молилась в дальнем углу.

– Я не совсем понимаю вас, – сказал я майору.

Майор угостил меня еще одной сигаретой. Потом мне налили тарелку супа, и я понял, как же я голоден. У меня был просто волчий аппетит.

Однако на следующую ночь меня никто не будил. От двух тяжелораненых с гноящимися ампутированными конечностями исходила ужасная вонь.

Я опять пилил дрова, на этот раз с двадцатилетним военнопленным родом из Люксембурга. Целый день шел снег.

У него оказались с собой фотографии его родителей и их гостиницы. С 1940 года они страдали от немецкой оккупации. Он рассказывал, что многие жители Люксембурга попали в немецкие концентрационные лагеря. Это случилось с теми, кто под воротом пиджака носил люксембургского красного льва, который является гербом Люксембурга.

Мы с ним продолжали пилить дрова.

Он рассказал мне, что только благодаря тому, что он добровольно вступил в немецкую армию, его родителей не бросили в концлагерь. Позднее он получил за свою храбрость Железный крест 1-го класса.

– Собственно говоря, я не понимаю тебя, – сказал я ему. – Ты же на собственной шкуре испытал, как работает система шпиков в гестапо, и должен стать осторожнее, а здесь ты открыто рассказываешь первому встречному о своем Железном кресте 1-го класса и другие подробности.

– Что ты имеешь в виду?

– Неужели ты думаешь, что у Иванов здесь нет шпиков? Но вы тут открыто болтаете о том, о чем хотели бы умолчать на допросе. Это же идиотизм. Например, я мог бы оказаться осведомителем.

Я распилил с люксембуржцем еще одно бревно. На этот раз молча.

– Будьте поосторожнее со своей болтовней! – сказал я ему на прощание.

Поскольку майор С. остался недоволен собранной мной информацией о содержавшихся в сарае военнопленных, то вскоре в широком проеме ворот сарая появилась новая фигура. Сидя целый день у костра, мы смотрели в этот проем, как на пустую сцену. Все новости: вызов на допрос, приказ об отправке в лагерь, раздача сухарей – все могло прийти к нам только из этих высоких ворот. Фигура появилась в сопровождении часового, который подобострастно держался сзади.

– Кто здесь Бон? – спросила фигура. Это оказалась женщина в военной форме и в коротком полушубке, из-под которого выглядывали стройные ноги в узких сапожках для верховой езды.

– Смирно! – по-военному четко крикнули все, кроме вонючих раненых.

– Кто здесь Бон? – повторила она свой вопрос, кокетливо поводя головой. Красная кубанка, украшенная кантом, превосходно подходила к ее светлым волосам. – Я разговаривала с майором С., – сказала она, когда мы с ней уже успели пройти полпути до дома майора. – Здесь вам нечего делать. Позже я заберу вас отсюда.

У меня оставалось еще достаточно времени, чтобы все хорошенько обдумать. Очевидно, такова была моя судьба, если я не справился с заданием майора С. и не смог назвать ему ни одной фамилии военнопленных из этих тридцати человек, которые могли бы представлять для него интерес. Это была моя судьба, а не моя добрая воля. Я не хочу добиваться лучшей жизни за счет товарищей по несчастью. Действительно, роль подсадной утки не для меня, и мне здесь нечего больше делать. В этом блондинка совершенно права. Но какая же ирония, какая кровавая ирония скрывалась за ее словами, когда после короткого разговора она в заключение спросила:

– Как вы поживаете?

Из ее уст это прозвучало так, словно еще позавчера мы с ней лакомились мороженым в одном из кафе на берлинской улице Унтерден-Линден.

Об этом я тоже подумал. Но не более двух секунд этим долгим днем. И это были приятные секунды.

Вечером за мной действительно пришел человек. Часовой с автоматом.

Все остальные пленные уже успели зарыться в заснеженную грязную солому и заснули, дрожа от холода. И только один из них, который продолжал сидеть у потухшего костра и курил, крикнул мне вслед:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.